

КРЕСТЬЯНСКИЕ «САМОСУДЫ» В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ: АКТУАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОПЫТА (на материалах северных губерний Европейской России)

Гражданская война в деревне дает примеры массовой «иррациональной жестокости», имевшей при этом в эпоху революционного безвластия тенденцию к эскалации. Представляется, что анализ развития традиционного правотворчества крестьянского населения с учетом определенной временной динамики позволит найти этому объяснение. Нет смысла дискутировать по поводу тезиса об архаическом взрыве во время Русской революции, распространенного благодаря трудам Б.П. Булдакова, А.С. Ахиезера и их многочисленных последователей. Булдаков, например, пишет о «диффузии общинности по всем этажам оживающей социальной пирамиды, более архаичной по своему психоментальному наполнению»¹. Но стоило бы добавить, что архаичное (или локальное) общество существовало по своим законам, поддерживавшим внутrigрупповую солидарность и межпоколенную преемственность. При этом даже воодушевленные архетипическими проявлениями коллективной памяти люди начала XX в. были одновременно носителями и исторически сформированного менталитета, то есть имело место сочетание ментальных традиций и конкретно-исторических условий. В.Я. Мауль предлагает при исследовании различных форм народного протеста учитывать, что в любом обществе помимо государственного права есть еще и «фольклорное», в основе которого лежат неписанные этические нормы. Поскольку народная культура, как и любая другая, располагает средствами принуждения по отношению к тем, кто ее должен разделять, не удивительно, что «в условиях кризиса традиционной идентичности, будировавшие массовое сознание страхи, волнения и опасения актуализировали весь арсенал народного опыта, вызывая к жизни вполне архетипические реакции, штампы и стереотипы»²:

В предлагаемой читателям статье рассматриваются причины и формы возрождения в 1917–1920 гг. такого социокультурного явления, как «самосуды». Этот феномен традиционной социальной культуры русского крестьянства не раз уже становился предметом исследования историков³ и этнографов⁴. Данное понятие берется в кавычки, поскольку значение термина предполагает некое «самоуправство», в противовес существующим законам, между тем в указанный период, по мнению автора, традиционные способы «социальной самозащиты» возродились в связи с разрушением прежней системы государственного права. Впрочем, и в предшествующий период, как утверждает американский историк С. Фрэнк, проанализировавший случаи «самосудов» в русской деревне по материалам периодической печати второй половины XIX в., они не были стихийным явлением, а представляли собой результат неудовлетворенности государственным правосудием. На огромной территории России действовали различные алгоритмы социокультурного развития. В рамках данной статьи названный феномен рассматривается на конкретно-историческом материале северных губерний: Архангельской, Вологодской и Северо-Двинской.

Архаичные формы наказания, имеющие, как правило, демонстративный характер, являются способом осуществления обществом или группой социального контроля над своими членами. Такой контроль служит целям сохранения социальности, поддержки внутrigрупповой солидарности, поощрения к совершению одобряемых поступков и проявлению желаемых коллективу моделей поведения. В «расширенном» обществе,

* Трошина Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, доцент Северного (Арктического) Федерального университета им. М.В. Ломоносова.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 10-01-48102 а/С.

включающем людей, не связанных родственными или соседскими связями и даже не знакомых между собой лично, социальный контроль имеет как формальное проявление – в виде определенных норм, нарушение которых преследуется и наказывается в соответствии с существующим законодательством, так и неформальное – например, в виде общественного мнения. Однако даже в таком обществе существуют специфические проявления социального контроля, которому в условиях локального проживания подчиняются небольшие группы лично знакомых друг с другом и связанных более тесными социальными связями людей. Проживание в малолюдных населенных пунктах, отделенных от других поселений громадными просторами и бездорожьем, вело к сохранению архаичных форм социальности.

Государство не могло полностью игнорировать традиционные формы социального контроля, с помощью которых можно было сдерживать от проявлений антиобщественного поведения определенную часть потенциальных преступников. Это, в частности, означает, что наряду с легитимным порядком государство допускало и даже в некоторой мере поощряло традиционный социальный контроль. С разрешения властей волостные и сельские суды имели право применять традиционные формы наказания. Например, отмененные в 1904 г. телесные наказания по приговору сельских сходов применялись и позднее, в том числе и в Архангельской губ., где они были официально запрещены еще с 1880-х гг.⁵ Даже такие унижительные наказания, если они налагались по решению местных органов власти, нельзя назвать самосудами; однако были случаи протестов «опороченных» крестьян в официальные органы с жалобами, поскольку де-юре эта практика входила в конфликт с официальной системой судопроизводства и исполнения наказаний. Известны случаи, когда, не решаясь на «самосуд», крестьянские общества сдавали лиц, признаваемых ими преступниками, властям⁶. Например, в одной из волостей Вологодского уезда крестьяне выслали замеченных в неоднократных кражах односельчан, «наказав милиционеру, чтобы он засадил их в городе в тюрьму, а если вернутся – они их расстреляют»⁷. Иногда уличенные воры, опасаясь «самосуда», добровольно являлись в органы власти, с требованием арестовать их. Впрочем, порой это не спасало провинившихся от ругающих за справедливость односельчан. Так, в Вельском уезде милиционер не смог вынести натиск толпы и выдал ей арестованного, после чего тот «подвергся жестокому избиению, досталось также и его семье»⁸.

Борясь с традиционными формами наказания, государство все же шло навстречу населению. Например, возникла такая норма закона, как высылка нежелательных членов по решению обществ. Это вполне устраивало и правительство, заинтересованное в людях, которыми можно было бы в принудительном порядке заселить огромные пустующие территории страны. До начала XIX в. «ссылка на поселение» существовала и в Архангельской губ. Позднее значительная часть ссыльных направлялась сюда решением своих «обществ», нередко на основе «обычного права». В северной ссылке, в частности, находились кавказцы, виновные в убийстве по законам кровной мести (расценивающееся законом как уголовное преступление оно было вполне легитимным с точки зрения кавказских народов). Ссылка в северные губернии (казалось бы, слишком мягкое наказание по уголовной статье) изолировала «кровника» и позволяла не допустить продолжения череды «кровных» убийств.

Между жителями локальных селений и властями был заключен своего рода «договор»: государство изолирует тех, кого население считает преступниками, но позволяет взять «на поруки» нарушителей закона, которые в глазах населения таковыми не являются. «Обществам» было дано право ходатайствовать перед властями о высылке (или отдаче в солдаты) «недомовитых», ленивых, «развращенных» своих членов, с которыми само оно не в состоянии было справиться. При этом в случае не очень серьезных проступков общество могло брать своих членов под свою ответственность, ручаясь за их поведение. Подобными правами пользовались также мещанские общества и цеховые организации. Однако в городах в начале XX в. этот механизм практически не работал; решение о наказании принималось в государственном суде. В сельской местности, особенно в небольших поселениях, механизм «договора» с государством про-

должал существовать. Даже после революции сельские общества подписывали «приговоры» с просьбой отпустить под их ответственность «пострадавших за общее дело» (участников антибольшевистских восстаний бойцов повстанческих отрядов) и «нужных обществу» (специалистов, образованных людей, например, офицеров, которые в глазах советской власти являлись преступниками).

Однако сформированное в предыдущую эпоху довольно хрупкое равновесие между государственным и «обычным» правом оказалось нарушенным в первые революционные месяцы, поскольку в переходные исторические эпохи всегда происходит ослабление социального контроля. В 1917 г. с фронта стал возвращаться наиболее беспокойный контингент: некоторые смогли вытребовать себе отпуск, других командование отпустило, желая избавиться от ненадежных солдат. Они были носителями разрушительных для традиционного общества настроений: произошло наложение проявлений молодежной культуры, свойственных им в силу возраста, распушенности, которой отличалась солдатская масса в 1917 г., и вульгаризированных социалистических идей.

Традиционный социум столкнулся и с другой проблемой: люди, высланные прежде по решению общества, вдруг стали возвращаться в отвергнувшую их когда-то среду. Это были и те, кто продвинулся по социальной лестнице (голод и террор в городах заставил вернуться разбогатевших или получивших приличное образование общинников), и те, кто искал «легкого хлеба» на городских фабричных работах. Есть основание полагать, что многие так называемые «политические ссыльные», активно включившиеся в революционную деятельность в северных уездах, на самом деле были высланы «за неподобающее поведение» по решению своих обществ. Например, отбывавший ссылку в Пинежском уезде Архангельской губ. герой Гражданской войны А.П. Щенников, «дело» которого якобы исчезло из Архангельского полицейского архива во время революционных событий 1917 г., по некоторым сведениям, был выслан из родной деревни на север «за порочное поведение»⁹.

Быстрый социальный сдвиг в развитии общества приводит к возрастанию проявлений девиантного поведения. Тем более, что революцией были освобождены даже сидевшие в тюрьмах и находившиеся на каторге. В условиях революционного беззакония и безнаказанности социальный контроль перестал быть сдерживающим механизмом, а резкое понижение благосостояния населения способствовало распространению воровства и грабежей. В разделе происшествий, помещавшихся в газетах той поры, присутствует масса примеров «падения нравов»: крестьяне тащат заготовленные соседями дрова из леса: «посаженный днем картофель ночью крадут из грядок»; солдат зарезал и ограбил соседа, согласившегося подвезти его до города и т.д.¹⁰ Общество не готово было справиться с таким количеством девиантных личностей, не признававших и даже презиравших «обычное» право. В этих условиях инстинкт самосохранения заставил жителей локальных поселений самих применять к преступникам меры наказания с целью предотвратить рецидивы. В результате, приметой революционной эпохи стали «самосуды». Нередки были случаи, когда «самосуды» происходили «при попустительстве» местной власти, и даже когда следствием устанавливалось, что «главный руководитель самосуда – милиционер». Так, начальник Сольвычегодской уездной милиции обвинялся ревтрибуналом в том, что коллективные наказания происходили при его молчаливом согласии; он «не только не принял всех зависящих от него мер к предотвращению самосуда в Семеновской волости, а своими словами и действиями способствовал к осуществлению самосуда, в результате чего были смерть и массовые истязания ни в чем не повинных людей»¹¹. Чем руководствовались выборные представители власти, сказать сложно. Возможно, «на местах» такая форма социальной защиты признавалась справедливой.

Разрушение старой государственной машины – а на нижних этажах это происходило с большим азартом, чем на верхних, где ее первоначально пытались лишь перестроить под новые задачи, – приводило к актам законотворчества на уровне уездов и даже волостей. Достоверных сведений о «местных» законах в начальный период революции практически нет. Довольно полная информация о местном законотворчестве содер-

жится в следственных делах по крестьянским восстаниям¹². В каждом случае местное сообщество создавало свою «республику», где организация власти и правотворчество представляли собой своего рода сплав «обычного права», сохранившегося в коллективной памяти, и каких-то представлений о том, какой должна быть легитимная власть, по каким законам должно жить население. Более или менее подробно описаны они в воспоминаниях активного участника установления советской власти в Шенкурском уезде Архангельской губ., где весной 1918 г. исполком принял собственный «свод законов». При всей «самодетельности» такого местного законотворчества, оно стремилось пресечь «самосуды» и силовые решения проблем, широко применявшиеся населением. В целом, «свод законов» представлял собой компиляцию из «обычного права», привычных государственных законов и революционного радикализма (так, например, наказания в виде штрафа или «ареста» за «контрреволюцию» показались недостаточными, и был введен «расстрел», несмотря на увещевания духовенства¹³). Это был своего рода способ социальной самозащиты в условиях, когда другие формы охраны общественного порядка не действовали.

Осуществление традиционных форм «социальной защиты» в новых исторических реалиях, в эпоху модернизации, порой сильно видоизменялось, в частности, «позорящие» наказания применялись к новым категориям провинившихся. Так, описанная этнографами практика, когда в качестве наказания людей возили по деревне на телеге, трансформировалась в «вывоз на тележке» с территории завода нежелательных для рабочих представителей администрации и штрейкбрехеров. Позорящие наказания использовались и тогда, когда член коллектива «отбивался» от него. Например, во время забастовок на заводах тех, кто отказывался в них участвовать, заставляли таскать привязанную к плечам жердь¹⁴ – как когда-то по деревне «водили» воров с поднятыми вверх и привязанными к шесту руками. Еще в 1905 г. в Вологодских железнодорожных мастерских «нежелающих принимать участие в забастовках толпа выгоняла насильно»¹⁵, схожие формы «принуждения» к общим действиям встречались и на других заводах.

В сельской местности «самосуды» чаще всего проводились в отношении воров. Как правило, к ним применялись архаичные демонстративные позорящие наказания. Пойманных воров водили по деревне, заставляли вставать на колени и просить у «мира» прощения. Укрывшего у своего товарища часы красноармейца «решением общего собрания... хотели даже расстрелять, но не получили разрешения. После этого водили по улице с плакатом “Я вор”. Сам осужденный кричал эти же слова»¹⁶. Видимо, для мужчин это было особенно унижительным, поэтому женщин-воровок наказывали более демонстративно. Автор подборки о традиционных наказаниях, налагаемых волостными судами, приводит случаи посрамлений, которым, как правило, подвергали женщин и девиц. Так, в Вельском уезде Вологодской губ. «заподозренной или уличенной в воровстве женщине платье поднимают на голову, связывают, в руки подают палку и ведут по деревне несколько раз, а затем по всему обществу, ведут под улюлюканье огромной толпы народа, которую созывают звоном колокола в ближайшей часовне. Иногда совсем раздевают и водят с плакатом в руках: “Мучная воровка такая-то”, или “Воровка веселилась, а попала – прослезилась”. Идут на это зрелище и старики, и дети – отказывающихся могут подвергнуть такой же участи. Так наказали 17-летнюю девушку за кражу холста и замужнюю женщину, имеющую взрослого сына и дочь-невесту, за кражу ведра муки»¹⁷. В ноябре 1917 г. в одной из волостей Вологодской губ. был произведен «самосуд» по решению сельского схода над крестьянкой, пойманной на воровстве: «Сход приговорил крестьянку к 25 розгам. На виновницу торжественно надели все найденные у нее украденные вещи, с барабанным боем повели по деревне. После этого началась церемония раздачи украденных вещей их хозяевам; затем – экзекуция, которую приводили в исполнение наиболее обозленные на нее, у кого она украла более всего»¹⁸. В другом месте крестьянку, «которая ходила за хлебом, били... стегали вицей... писали карандашом на лбу» порочащие ее надписи¹⁹. Как понимать – «ходила за хлебом»? Возможно, это было безобидное (в более благополучные времена) прошение милостыни.

Резкое обеднение населения подталкивало многих людей к воровству самого необходимого для жизни. Мотивом такого поведения могло быть и «всплывшее» из подсознания представление о своем праве на общественное вспомоществование (явление, именуемое «моральной экономикой»²⁰). В предыдущий период, судя по архивным документам и этнографической информации, среди населения отдаленных местностей продолжали существовать архаичные традиции общественного «прокормления» нуждавшихся. Если семья бедствовала по уважительной причине – болезнь или смерть мужчины-кормильца, стихийное бедствие, гибель скота, – общество брало ее временно на свое содержание. Были случаи, когда на законные требования вернуть торговцу деньги за взятые в долг продукты, крестьянин, уверенный в своей правоте, оправдывался тем, что «средств для этого не имеет»; встречались коллективные требования раздела продовольственных запасов деревенского торговца, в случае признания общественной потребности в этом. Состояние относительного народного благополучия позволяло обществу к подобным призывам «делиться» относиться вполне благосклонно. Но за годы Первой мировой войны количество нуждавшихся сильно возросло. Новые власти легализовали архаичную традицию взаимопомощи, в том числе в принудительной форме. При этом на «помощь» после революции 1917 г. претендовали не имевшие, по мнению локальных обществ, такого права: обедневшие из-за своей «недомовитости» и разгильдяйства, вернувшиеся отходники, которые свои заработки «прогуливали», вместо того, чтобы вкладывать в крестьянское хозяйство, в общем, все те, кто обладал качеством, которое в деревне вызывало если не презрение, то жалость – бедностью. До революции бедность относилась к числу осуждаемых качеств – не случайно крестьяне зачастую стремились скрыть свое бедственное состояние от посторонних глаз. Сохранялась опирающаяся на обычай система наказаний по отношению к «непутевым» членам общества – «пьяницам, лентяям и ведущим расточительный образ жизни». Например, в одной из волостей Пинежского уезда в начале XX в. действовало правило: «Если по бедности или лени надел обрабатывается плохо или вообще не обрабатывается – лишают надела»²¹. Кроме того, по мере повышения уровня общего благополучия, впадшим по собственной вине в бедность нередко приходилось иметь дело и с моральными «наказаниями» – в виде пренебрежительного отношения, когда «ни одна девушка замуж не пойдет», и проч.

Доступная нам информация о происходивших «самосудах» содержится в основном в газетных публикациях того времени. Вероятно, многие случаи просто не стали достоянием гласности, поскольку совершались в деревнях скрытно от «чужих глаз». Если же выстроить известное нам хронологически, то можно увидеть, что со временем наказания ужесточались. «Самосуды» все чаще заканчивались убийствами. Жестокое «самосуды» являлись не только «всплеском» архаичного начала в условиях ослабления власти закона. Стремление к их осуществлению привезли с собой и солдаты, которые оказывались свидетелями, а иногда и участниками расправ с офицерами, прокатившихся по фронтам и гарнизонам в 1917 г. Агрессия такой толпы нередко развивалась без конкретных идейных целей. Например, в ноябре 1917 г. на Вологодском вокзале толпа солдат и штатских расправилась с прибывшим из Петрограда анархистом, который агитировал против Временного правительства и за прекращение войны. Возмущенная толпа схватила его и сначала выдала милиционеру. Однако агитатор не прекращал своих призывов, чем спровоцировал новый взрыв агрессии: его вырвали из рук милиционеров и убили»²².

Однако, судя по некоторым свидетельствам, решение о казни зачастую принималось потому, что не знали, как поступить с преступником. Это было связано, в частности, с тем, что население сталкивалось с непонятным для них поощрением «воров и грабителей» со стороны новых властей. Принципы справедливости, которые исповедовала советская власть, отличались от традиционных. То, что население воспринимало как кражу чужого имущества, в ее глазах являлось революционным актом «экспроприации». Население не сразу разобралось, что у государства сменились приоритеты. Нередко сданные властям преступники возвращались в свои деревни и даже становились членами комбедов. Опасаясь мести со стороны подобных личностей, население

стало принимать решения об их физическом уничтожении. При этом убийства носили ритуальный, демонстративный характер, с «круговой порукой»: при проведении следствия выяснялось, что «никто ничего не видел», «не помнит», и т.д. – что маловероятно в пределах даже волости, где люди не могли не знать друг друга хотя бы в лицо. Впрочем, традиция применения принципа коллективной ответственности касалась не только самозванных судей, но и преступников: она распространялась на родителей преступников, которых подвергали ostracism и даже физическому наказанию, поскольку признавалась их вина за действия детей; равным образом к скупщикам краденого, как к соучастникам, отношение населения было более жесткое, чем к самим ворами.

Информацию о зверских расправах крестьян над своими общинниками и над «чужаками» в эпоху Революции и Гражданской войны мы получаем из «внешних» источников – в виде восприятия «внешних» наблюдателей. Само население, связанное коллективной ответственностью, не считало возможным ни во время проводимого следствия, ни в позднейших воспоминаниях объяснить мотивацию и организацию диких «самосудов». Так, в Тотемском уезде Вологодской губ. «несколько жителей, имена которых местное терроризированное население не называет, боясь мести с их стороны», убивали людей, обвиненных в грабежах: одного «убили, забрали у него массу ценных вещей, привезли в деревню и заставили священника похоронить»; другого «избили, он был помещен в больницу, убийцы ворвались в нее, забили топорами и кольями». При этом убийцы решили «собрать сход и попросить у него разрешения производить казни над порочными, по их мнению, лицами общества и тем самым навести порядок»²³. В Сольвычегодском уезде в 1919 г. «толпа избивала, а затем повесила трех частных лиц, заподозренных в грабеже и убийстве»²⁴. Были жутковатые случаи закапывания преступников живыми в землю²⁵, очевидно, в связи с тем, что никто не решался нанести «последний удар», а избавиться от них следовало. Впрочем, возможно, это преувеличение газетчиков, которые получали подобную информацию из «вторых рук».

Как всегда в подобных случаях, крестьяне стремились придать происходившему анонимные формы, которые со стороны казались стихийными действиями необузданной толпы. «За последнее время, – констатировал летом 1918 г. корреспондент вологодской газеты, – в связи с отсутствием на местах твердой власти и создавшимся убеждением темного народа о безнаказанности за всякие поступки, преступные инстинкты принимают угрожающие размеры, и население, естественно, ищет тех или иных способов защитить себя и свое имущество от посягательств со стороны “любителей” чужой собственности и разгульного элемента. Темнота же народная и беспомощность наталкивает его на самосуд, выливающийся обычно в самые уродливые, бесчеловечные, зверские формы»²⁶. «Так темная крестьянская масса реагирует на отсутствие твердой власти в деревне, отчаявшись получить удовлетворение своих претензий от законного суда», – объясняет массовые случаи «самосудов» другой журналист²⁷.

Однако часто общество, выносившее смертный приговор преступникам, брало на себя социальные обязательства казненных – например, «сбрасывалось» деньгами, давало обещание оказывать материальную и трудовую помощь престарелым родителям и малолетним детям. Вот как описывается сцена расправы с группой воров, занимавшихся кражей у соседей: «Крестьяне решали, что с ними делать, так как суда нет, а отпустить на свободу боязно, вдруг всю деревню из мести подожгут. Решили одних... убить, а остальных отпустить – авось исправятся. В конце концов, троих взрослых убили, пообещав, что детей – трех дочерей и мальчика – будут содержать всем обществом»²⁸. В одной из волостей Сольвычегодского уезда женщин-воровок убили по решению сельского схода, при этом его участники дали «подписку об уплате 800 рублей родственникам казненных женщин»²⁹.

Такая организованная форма наказаний вызывает сомнение в справедливости тех объяснений, которые давали им современники – как проявление «дикости» и «народной темноты»; историко-антропологический подход и локальный (микроисторический) метод позволяют нам увидеть в этих событиях рецидивы коллективной памяти. Тщательное исследование документов крестьянских восстаний показало, что за «стихий-

ностью», которой допрашиваемые стремились объяснить происходившее, в действительности скрывалась достаточно строгая организованность и управляемость. И даже дикие, казалось бы, избиения толпой советских работников и коммунистов совершались в действительности по решению схода, причем «анонимно» – чтобы не создавать предпосылок для личных обид (в случае, если экзекуции подвергался односельчанин) и избежать наказания со стороны карателей (если избивали «чужаков»). «Анонимные» избиения, когда наказываемого били сзади, чтобы он не видел лиц своих экзекуторов, стали традиционной формой коллективных наказаний. «Самосуд» использовался для придания самоуправству видимости законности при принятии решений о контрибуциях, конфискациях и различных наказаниях, основанных на обычном и при этом нередко уже забытом праве. По мнению автора корреспонденции, в вологодской газете, у крестьян наблюдалось стремление «оформить бесчинства», производившиеся в деревнях, составлением протоколов, причем к этому не допускались легитимные власти в лице, например, земских управ³⁰. На основании таких протоколов производились различные «насилия», например, изъятие у церковного причта земли и другого имущества (домов, мельниц и проч.), конфискация частной земли у крестьян, выселение или лишение имущества «примаков», то есть крестьян других обществ, вошедших «на хозяйство» в качестве зятя или усыновленного, конфискация имущества и наделов у вышедших замуж в другие селения женщин.

По мере того, как власти стали опираться на «бедноту», менялись интонации в оценке ими случаев «самосуда». Если первое время их рассматривали как проявление народной «дикости», то впоследствии – как факты «классовой борьбы», направленной против бедноты. В 1919 г. наблюдавший сцену «самосуда» в Вельском уезде корреспондент местной газеты с возмущением писал об издевательствах над бедной, одетой «в рубище», вдовой, сын которой служил в Красной армии, и которая, чтобы прокормить своих малолетних детей, «прихватила на мельнице из кулацкого мешка в карман своего жалкого одеяния несколько пригоршней жита», за что ее вели по деревне в сопровождении милиционера, с прицепленными колокольчиками и с надписью «воровка»³¹. По воспоминаниям советского работника, его «больно кольнули» слова помора, отреагировавшего на убийство членов Кемского уездного исполкома, произведенное в 1918 г. по решению общего собрания жителей города: «Так им и надо, забыли все божеские законы, посягнули на чужое богатство, чтобы самим себе набить карманы». По мнению автора воспоминаний, эти слова можно было объяснить лишь «темнотой и несознательностью говорящего и той рабской психологией, которая вырабатывалась годами угнетения, эксплуатации и религиозного дурмана, навязываемого духовенством», поскольку «грабежи» на самом деле были контрибуциями, наложенными на богачей и судовладельцев, для нужд уезда³². В глазах большинства населения «красные» были грабителями, а советская власть поощряла грабеж, присвоение чужого, чему придавалась идеологическая подоплека. Например в феврале 1918 г. солдаты Красной армии постановили сделать обыск у «местных кулаков» и реквизировать имевшиеся у них запасы, для чего «собрались с красным флагом и реквизировали излишки хлеба, мануфактуры, одежды»³³. В том же году в Онежском уезде Архангельской губ. «красноармейцы, отступая, оставили склад, разрешив брать, кому что надо»; опасаясь, что придет «настоящая власть» и накажет все общество за самоуправство, крестьяне своей волей закрыли склад, собрав все растащенное³⁴.

По мере усиления центральной власти и «революционной законности» начали ужесточаться меры против нарушителей законов, однако «разгул» местных властей продолжался. В Пинежском уезде в 1919 г. по решениям комбедов, несмотря на возмущение «агитаторов из Центра», «расстреливали по 18–20 человек»³⁵. Даже после окончания Гражданской войны были случаи подобных «узаконенных» на местном уровне «самосудов». Так, губернской власти в последний момент удалось добиться отмены расстрельного приговора врачу, обвиненному в том, что допустил распространение гриппа в уезде; нередкими были случаи изгнания и коллективного избиения медиков по решению местных органов власти³⁶.

Во время крестьянских бунтов происходили всенародные избиения советских работников, коммунистов, продотрядовцев. Перед этим их «всем миром» допрашивали; если свидетели подтверждали, что эти лица принимали участие в изъятии хлеба и других припасов (нередко такой опрос свидетелей был формальным, поскольку все присутствующие и так это знали), то подсудимые подвергались коллективному избиению. То, что подсудимые выполняли распоряжения новых властей, не всегда останавливало. Крестьяне не утруждали себя диалогом с властью; с их точки зрения, власти всегда делали неправильно, но с этим надо мириться. Мирились они и с требованиями новой власти. Однако в условиях Гражданской войны в деревни являлись разные люди с разнообразными «мандатами». Не в состоянии разобраться в происходившем, крестьяне «закрылись» в своих общинах, не допуская к себе чужаков.

В системе социального контроля категории «свой» и «чужой» были очень важными. Это хорошо видно на примере распространенного в начале XX в. среди молодежи, как городской, так и сельской, «хулиганства». Современники отмечали, что хулиганские выходки позволяли себе обычно «чужие» или на чужой территории, массовые драки и другие негативные проявления молодежной культуры чаще отмечались в городах, а также в «чужих» волостях, или по отношению к «чужим». Например, крестьяне-отходники в ожидании отъезда «нередко дерутся, но в селе никаких безобразий не чинят»³⁷. Призывники буквально терроризировали жителей селений, через которые их вели этапом; в своих же деревнях стремились соответствовать «обычаю». В воспоминаниях участника Первой мировой войны присутствует рассказ о драчливом однополчанине, который был его земляком: агрессивный товарищ односельчанина не трогал, поскольку опасался, что тот в письмах на родину расскажет о его поведении родственникам и знакомым³⁸. По мнению Фрэнка, в отношении к «своим» и «чужим» применялись различные типы «самосуда»: над членами своей общины осуществлялся суд, носивший ритуальный характер, допускавший покаяние провинившегося и прощение его со стороны односельчан. Это подтверждается свидетельством активного участника установления советской власти: приступив к «учету» товаров местных торговцев, он с товарищами «кое-что покупали для себя... Но потом покаялись об этом на общем собрании, и нас простили»³⁹. Чужие же, чьи преступления угрожали благополучию общины, подвергались наказанию с применением различных форм насилия.

Этим можно объяснить создание отрядов самообороны, которые в условиях боевых действий приобрели формы «партизанских отрядов» различной окраски. «Чужих» воспринимали как разбойничьи банды. На Пинежском фронте направленные в «белые» деревни для проведения реквизиций отряды подвергались нападению вооруженного топорами населения, кричавшего: «Держите воров, разбойников, грабителей!» Зарубленный крестьянами красноармеец был завален навозной кучей⁴⁰. Продовольственные отряды, которые нередко путем насилия и шантажа требовали сдачи хлебных запасов, в глазах населения занимались открытым грабежом чужого имущества, были «бандитами». Крестьяне привыкли покорно выполнять государственные повинности и выплачивать подати, однако деятельность продотрядов, по их представлениям, не отвечала государственным интересам, хотя бы потому, что изымалось даже семенное зерно. Поэтому крестьяне, которые в прежние времена «отлавливали» шайки разбойников, помогая тем самым властям и защищая себя от их разбоя, стали так же поступать и с продотрядовцами. Однако, не надеясь на «понимание» новых властей, наказывали их сами, при этом жестоко и демонстративно, чтобы «неповадно было». Например, в Никольском уезде Вологодской губ. продотрядовцев убивали, раздробляя головы молотом⁴¹. Казнь происходила на крыльце волысполкома, по решению крестьянского схода, в присутствии и с согласия местного исполкома; тела убитых были оставлены на улице. Карательный отряд расстрелял заподозренных в расправе крестьян. Общество молча это стерпело, однако баня, в которой были помещены тела убитых продотрядовцев, чтобы местные женщины подготовили их к захоронению, «случайно» сгорела.

Примечания

- ¹ Булдаков В.П. Октябрьская революция: социокультурное измерение. Дис. ... д-ра. ист. наук в виде научного доклада. М., 1998. С. 8, 23.
- ² Мауль В.Я. Пугачевский бунт в восприятии русских «простецов» // Человек второго плана в истории. Вып. 3. Ростов н/Дону, 2006. С. 82–83, 85.
- ³ Фрэнк С. Народная юстиция, община и культура русского крестьянства. 1870–1900 // История ментальностей и историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 233–239; Зырянов П.Н. Обычное гражданское право в пореформенной общине // Ежегодник по аграрной истории. Вып. 6. Вологда, 1976. С. 91–101.
- ⁴ Анализ собранных этнографами материалов см.: Кушкова А.Н. Посрамление за воровство в системе обычно-правового судопроизводства российских крестьян второй половины XIX – начала XX вв. // Антропологический форум. 2006. № 5. С. 212–241.
- ⁵ «Статистик». О наказаниях, налагаемых волостными судами в Архангельской губернии // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. № 11. С. 499–501.
- ⁶ Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 год. Архангельск, 1864. С. 8.
- ⁷ Самосуд // Северное эхо. Областная газета Вологодского губернского комитета партии Народной свободы. 1917. 10 ноября.
- ⁸ Случаи воровства и самосудов в Шангальской волости // Вельская народная газета. 1918. 20(7) февраля.
- ⁹ ГА РФ, ф. р-5867, оп. 1, д. 3, л. 53.
- ¹⁰ Из Березниковской волости Вологодского уезда // Вольный голос Севера. Северная областная крестьянская газета, издаваемая Вологодским центральным обществом сельского хозяйства. 1918. № 64. 20 июня. С. 3.
- ¹¹ ГА РФ, ф. 1005, оп. 2, д. 16, л. 3–5.
- ¹² См.: Архив РУ ФСБ по Архангельской области, д. П-21274.
- ¹³ См.: Государственный архив Архангельской области. Отдел документов социально-политической истории (далее – ГА АО ОДСПИ), ф. 8660, оп. 3, д. 660.
- ¹⁴ Там же, оп. 4, д. 81.
- ¹⁵ Вологодский областной архив новейшей политической истории (далее – ВОАНПИ), ф. 3837, оп. 3, д. 6, л. 6–16.
- ¹⁶ Наказание за преступление // Зырянская жизнь. Общественно-политическая, экономическая и литературная газета. 1918. 4 сентября.
- ¹⁷ [В. П-нь.] Дикость // Вельская народная газета. 1918. 30(17) марта.
- ¹⁸ Самосуд // Северное эхо... 1917. 10 ноября.
- ¹⁹ ГА РФ, ф. 1005, оп. 2, д. 16, л. 10.
- ²⁰ Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ученые записки. 1996. М., 1996. С. 292.
- ²¹ Дер. Петрова-Гора // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1910. № 14. С. 27.
- ²² Самосуд // Северное эхо... 1917. 28 июня.
- ²³ Корреспонденция // Вольный голос Севера... 1918. № 3. 6 января.
- ²⁴ ГА РФ, ф. 1005, оп. 2, д. 16, л. 3–5, 10.
- ²⁵ Скороходов С. Народная темнота // Вольный голос Севера... 1918. № 6. 15 января.
- ²⁶ Зверский самосуд // Вольный голос Севера... 1918. № 58. 6 июня (24 мая).
- ²⁷ Самосуд // Северное эхо.. 1917. 28 июня.
- ²⁸ Зверский самосуд // Вольный голос Севера... 1918. № 58. 6 июня (24 мая).
- ²⁹ ГА РФ, ф. 1005, оп. 2, д. 16, л. 10.
- ³⁰ [«Беднягин»]. Юза Никольского уезда // Вольный голос Севера... 1918. № 10. 12 января.
- ³¹ [«Пипон»]. «Шероховатость» Дмитриевской волости // Красный набат. Орган Вельского исполкома. 1919. 9 февраля.
- ³² РГАСПИ, ф. 70, оп. 3, д. 542.
- ³³ Корреспонденция // Север. 1918. 23 февраля.
- ³⁴ ГА АО ОДСПИ, ф. 8660, оп. 3, д. 721.
- ³⁵ Там же, ф. 1, оп. 1, д. 27, л. 84.
- ³⁶ ГА АО, ф. 236, оп. 1, д. 997, л. 151–152.
- ³⁷ Там же, ф. 1, оп. 4, т. 3, д. 1222, л. 107.
- ³⁸ Воспоминания М.И. Коротких // Интернет-ресурс «Онежская библиотека»: <http://www.onegaonline.ru/biblio/see.asp?kod=312>.
- ³⁹ ГА АО ОДСПИ, ф. 8660, оп. 3, д. 660.
- ⁴⁰ Там же, д. 717.
- ⁴¹ ВОАНПИ, ф. 3837, оп. 3, д. 7, л. 159–172; Очерки истории Вологодской организации КПСС. 1895–1968. Вологда, 1969. С. 228–229.